

О. Н. ТРУБАЧЕВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Плодотворные идеи теории волн И. Шмидта о генезисе и распространении языковых форм во многом предвосхитили содержание языкознания XX в., однако настоящий сдвиг начал осуществляться лишь в результате подготовки больших атласов европейских языков. В последней четверти XIX в. Г. Венкером были собраны и в незначительной части опубликованы материалы «Лингвистического атласа Германской империи», а в первые десятилетия XX в. один за другим последовали «Лингвистический атлас Франции» Ж. Жильерона и Э. Эдмона, «Немецкий лингвистический атлас» Ф. Вреде, «Атлас Италии и Южной Швейцарии» К. Яберга и И. Юда. Методологические различия между этими работами оказались при этом весьма значительными. В то время как Г. Венкер, бывший настоящим пионером в этом деле, был скорее озадачен многообразием и переплетением линий распространения различных форм в диалектах и тем более не предвидел этой сложности, приступая к осуществлению своего замысла, что выразилось в характере его вопросника, составитель французского атласа Ж. Жильерон с самого начала опирался на выдвинутые к тому времени французской лингвистикой положения о взаимопроникновении диалектных особенностей и относительности диалектных границ. Различие, которое носило сначала как будто внешний характер (вопросник Жильерона содержал в несколько раз больше слов, чем у Венкера), привело со временем к важным результатам. Современный немецкий лингвистический атлас, отражающий сплошное обследование ряда форм на всей территории языка, является по сути обработкой материалов Венкера или новых данных, собранных в соответствии с его программой. Поэтому различие между атласами обоих языков, обозначившееся вначале, сохранилось в течение всего времени. Оно оказалось принципиальным особенно на следующем этапе, в период научной обработки материалов, представленных в атласе. Лингвистическая география, создание которой является исключительной заслугой авторов первых лингвистических атласов, явилась для французских ученых в первую очередь географией слов, чего нельзя было сказать об этой отрасли языкознания в Германии. Немецкий лингвистический атлас обладал рядом ценных преимуществ в других отношениях, особенности обоих атласов неоднократно обсуждались в литературе, и здесь не место останавливаться на них подробно. Однако именно французским лингвистам мы обязаны созданием географии слов, именно им принадлежит честь разработки основных принципов и первых важных трудов в этой области. Естественно, что нас интересует именно этот аспект лингвистической географии, имеющий важнейшее значение для этимологических исследований.

Лингвистическая география сказала очень много нового и ценного для этимологии, выдвинула ряд положений, значение которых трудно переоценить: каждое слово представляет собой индивидуальный в известном смысле продукт истории развития и географического распределения форм; соотношение форм, которое застает в определенный момент лингвист-наблюдатель, как правило, чуждо какой бы то ни было случай-

ности, но объяснимо в свете данных истории, культурных влияний и взаимоотношений форм между собой; границы диалектов и вообще языковых территорий имеют относительное значение и не могут служить препятствием для распространения общих слов и форм, отсюда следует важный вывод о необходимости изучения внешней взаимозависимости лингвистических систем. В изучении значения слова нужно покончить с убеждением о его локальной изолированности, так как значение, равно как и само слово в целом, является отражением широких формальных, исторических и территориальных связей. Широкое географическое изучение слов, опирающееся на данные истории, способно правильно решить проблему стратиграфии, т. е. последовательных наслоений слов и форм, реконструируя подчас с большой степенью вероятности ареалы распространения древних, давно вымерших языков¹.

¹ «Основная цель лингвистической географии заключается в том, чтобы восстановить историю слов, флексий, синтаксических сочетаний на основании распределения современных форм и типов. Это распределение не является делом случая; оно является отражением прошлого, а также географических условий и среды, воплощенной в человеке. Лексические и морфологические разновидности в любую эпоху рассеяны и сгруппированы отнюдь не произвольно... Нужно... вскрывать закономерности, обусловившие преобразования, возникновение, группировки, передвижения, жизнь и борьбу слов»². Эти слова А. Доза, между прочим, ясно указывают, как зачинатели лингвистической географии понимали назначение своей науки. Кстати сказать, в некоторых работах последнего времени довольно часто можно встретить отождествление лингвистической географии с описанием диалектов, диалектографией. В наши задачи в данный момент не входит необходимость отстаивать ту или иную точку зрения, важно лишь отметить, что этимологическому исследованию приходится иметь дело с лингвистической географией как широко понятой исторической дисциплиной. Некоторые ученые склонны упрекать французскую лингвистическую географию в преувеличенном внимании к слову как лингвистическому индивидууму. Верно, однако, и то, что французских лингвистов интересовали вообще формы, флексии и синтаксические сочетания в плане лингвистической географии. Сама языковая действительность побуждала их придавать особое значение реальному осуществлению форм и флексий и наиболее характерной единице речи — слову. С полным основанием говорит Доза о жизни и борьбе слов, применительно к чему Жильерон употреблял, например, такие термины, как «патология и терапия слов»³. Само собой разумеется, что слова — не живые организмы, а символы человеческих отношений в общественно-историческом плане. Но за этими более или менее неудачными терминами стоят реальные отношения форм языка, которых никто не станет отрицать: аналогическое развитие форм, явления народной этимологии. Радикальное преобразование различных форм, сблизившихся на определенном этапе своей истории и на определенной языковой территории, забвение той или другой формы с целью обеспечить лучшее понимание — таков, упрощенно, смысл понятия словесной «патологии и терапии», как это хорошо продемонстрировал Жильерон на примере ряда французских слов.

Факты позволяли Жильерону говорить о крахе чисто фонетической этимологии. Одновременно им и другими представителями лингвистической географии выдвигались качественно новые методы этимологического исследования, обогащенные опытом работы над лингвистическим атласом. Не случайно все лингвисты этого направления проявляли по-

¹ А. D a u z a t, La géographie linguistique, Paris, 1922, стр. 27, 28, 43, 162—163; К. J a b e r g, Aspects géographiques du langage, Paris, 1936, стр. 14, 44, 107—108.

² А. D a u z a t, указ. соч., стр. 27.

³ Ср. J. G i l l i é r o n, Pathologie et thérapeutique verbales. Études de géographie linguistique, I—II — Neuveville, 1915, III — Paris, 1921.

стоянный и глубокий интерес к этимологии как таковой (ср., кроме работ Жильерона, разнообразные труды Доза, которому принадлежит также этимологический словарь французского языка).

В то время как французская и вообще романская лингвистическая география в полном смысле слова вышла из «Лингвистического атласа Франции», немецкая лингвистическая география, насчитывающая ряд крупных лингвистов и представленная главным образом школой замечательного ученого Т. Фрингса, выросла скорее из больших комплексных исследований языка важнейших исторических областей Германии — Рейнских провинций с их сложной политической историей, междиалектными отношениями и влиянием со стороны других языков и так называемого средненемецкого Востока, колонизованного позднее. Общее, что объединяет немецкую науку с французской, — это понимание лингвистической географии как исторической дисциплины, призванной интерпретировать карты во всеоружии общественно-исторических и лингвистических знаний с целью определения хронологии языковых явлений, а также их причин и направлений развития. Немецкая лингвистическая география добывает и обрабатывает огромный материал, наглядно иллюстрирующий генезис и направление различных инноваций в фонетике, морфологии и лексике, преодолевающих как диалектные, так и языковые границы. Немецкой лингвистической географии, действительно, присущ широкий, систематический охват языковых явлений, но среди них не последнее место занимает география слов, о чем свидетельствует, наряду с прочими, исследование П. Кречмера «География слов верхненемецкого разговорного языка»¹.

Лингвистическая география, основанная первоначально на данных, ограниченных территорией одного языка или группы близких языков, оплодотворила многими новыми идеями не только этимологию соответствующих языков в узком смысле, но и сравнительно-историческое языкознание в целом. Распространение принципов лингвистической географии на сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков является в основном достижением итальянских лингвистов. В систематизированном виде находим эту концепцию, получившую название «пространственной лингвистики», или неолингвистики, впервые у М. Бартоли. Согласно Бартоли, при отсутствии письменных свидетельств можно судить о хронологических отношениях на основании территориального критерия, который опирается на следующие принципы (попме): 1) фаза, сохранившаяся на изолированной территории; 2) фаза, сохранившаяся на периферийных территориях; 3) фаза, сохранившаяся на большей части территории; 4) более ранняя фаза, сохранившаяся в качестве островков в иноязычном окружении или в виде заимствований в других языках.

В дальнейшем В. Пизани окончательно закрепляет применение описанных принципов на индоевропейском материале. Ему также принадлежит в наиболее законченной форме обоснование уже называвшегося выше принципа, согласно которому языковые инновации могут распространяться через сложившиеся диалектные и языковые границы. Было бы неправильно ожидать от изложенных выше принципов точности математических законов, сами авторы сознавали это достаточно ясно и приводили примеры различных исключений и ограничений. Но это отнюдь не умаляет значения общих наблюдений пространственной лингвистики, напротив: новейшие исследования в области древнеиндоевропейской диалектологии подтверждают важность прежде всего положения о распространении инноваций на смежных территориях различных языков или диалектов при условии общности их исторических судеб. Немалое значение для проверки соответствий отдельных групп индоевропейских

¹ P. K r e t s c h m e r, Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen, 1918.

диалектов между собой имеет также принцип периферийных областей, помогающий констатировать на окраинах индоевропейской лингвистической территории, менее затронутых инновациями, ряд общих, в том числе лексических, реликтов¹.

Трудно переоценить особенно значение положения лингвистической географии (пространственной лингвистики) о распространении языковых инноваций. Благодаря ему становится возможным чрезвычайно важное методологическое разграничение генезиса явления и распространения явления, в ходе которого явление продвигается из центра иррадиации путем субституций (звуковая инновация) или заимствований (лексическая и морфологическая инновация). Это положение широко и плодотворно применяется при изучении отношений как между языками, так и между диалектами языка. Классическим примером являются различные по происхождению языки Балканского полуострова: греческий, албанский, болгарский, македонский и румынский, которые в итоге длительного исторического взаимодействия развили ряд общих черт. Эта новая лингвистическая общность, объединившая балканские языки, объясняется, по-видимому, не отражением общего для всех названных языков лингвистического субстрата, а распространением общих инноваций, источником которых, как это хорошо показал К. Сандфельд, является в большинстве случаев наиболее влиятельный на Балканах в культурном отношении греческий язык². Изучение разнообразных особенностей лексики, фонетики, морфологии и синтаксиса, охватывающих все балканские языки, является объектом балканистики. Таким образом, большое значение приобретает определенный аспект лингвистической географии — ареальная лингвистика. Можно указать целый ряд областей в Европе и за ее пределами, в которых в силу исторических причин между носителями различных языков устанавливаются оживленные сношения, облегчающие распространение на всей данной территории лингвистических инноваций. Например, диалекты различных языков, расположенные на землях, прилегающих к Карпатам, в результате многократных перекрестных заимствований выработали целый ряд общих слов и значений, характерных только для этой области. На проявления аттракции между обско-угорскими и самодийскими языками, удмуртским и татарским языком, принципиально интересные как совместные инновации далеких или совершенно не родственных языков, указывает Б. А. Серебренников, занимающийся проблемами ареальной лингвистики³. Задачи ареальной лингвистики приобретают особенную ясность и четкость, когда приходится иметь дело с такими лингвистическими союзами, как балканский. Однако в интересах науки не следует также оставлять без внимания те случаи, когда налицо лишь некоторые элементы языкового союза или остатки таких элементов, но сам союз в силу исторических условий не сложился. Ниже мы еще коснемся примеров подобного рода.

Создатели лингвистической географии вполне отдавали себе отчет в том, что для глубокого изучения языковых отношений на территории одного какого-либо языка необходимо привлечь исследования по лингвистической географии соседних территорий. Так, для лингвистической

¹ См.: M. Bartoli, *Introduzione alla neolinguistica (Principi — Scopi — Metodo)*, Genève, 1925; V. Pisani, *Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee*, 1933; его же, *Geolinguistica e Indoeuropeo*, 1940; W. Porzig, *Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets*, Heidelberg, 1954, стр. 48—49, 53, 56—57 (названия недоступных мне работ Пизани привожу по данной книге Порцига); G. Alessio, *Le lingue indoeuropee nell'ambiente Mediterraneo*, Bari, 1955, стр. 140 и сл.

² К. Sandfeld, *Linguistique balkanique. Problèmes et résultats*, Paris, 1930, стр. 6, 165, 213 и сл.

³ Б. А. Серебренников, *Теория волн Иоганна Шмидта и явления языковой аттракции*, ВЯ, 1957, № 4, стр. 4 и сл.; на VIII Международном конгрессе лингвистов в Осло (август 1957 г.) Б. А. Серебренников сделал сообщение «История языка и ареальная лингвистика».

географии Франции крайне важен лингвистический атлас Северной Италии. Проблема комплексного изучения лингвистической географии ряда смежных языковых территорий в Европе была, однако, во всей широте поставлена позднее немецкими учеными, которые обогатили лингвистическую географию применением принципа «слов и вещей», давшего прекрасные результаты. В. Песслер, опираясь на аналогичный собственный опыт в области изучения немецкой диалектной лексики, говорит об атласе лексической географии Европы, который бы опирался на европейский этнографический атлас, что создаст реальную основу для географии слов и вещей, охватывающей всю Европу¹. Таким образом, разрабатывались предпосылки для всестороннего исследования происхождения и распространения слов, обозначающих предметы материальной культуры, в связи с самими предметами. Однако эта лексика еще не составляет всего словаря языка, и немецким лингвистам можно вменить в вину недооценку иных словарных групп. Важнейшие общие инновации языков одной культурной зоны могут касаться также таких элементов словаря, имеющих первостепенное значение в общении людей, как числительные, местоимения, различные служебные слова. Появление в различных языках Европы функционально и семантически близких кратких слов со значением «да», которые неизвестны в древний период истории тех же языков, А. Мейе проникательно объяснил взаимоподражанием в условиях близкой цивилизации².

Надо сказать, что в славянском языкознании принципы лингвистической географии не нашли по-настоящему широкого применения, в то время как славянские языки представляют богатейший материал для таких исследований. Поэтому единственной в своем роде представляется деятельность недавно скончавшегося польского лингвиста К. Нича. Творчески усвоив лучшие достижения французской и немецкой лингвистической географии, Нич большую часть своей жизни посвятил географии слов польского языка. Он рассматривал словарь как важный критерий языковой и диалектной классификации; расхождения в лексике между отдельными польскими говорами он исследовал с точки зрения истории и развития культуры. Необходимым условием при лингво-географических исследованиях словаря он считал выход за пределы одного языка, хотя удовлетворительному выполнению именно этого условия препятствовала недостаточная разработка лексикографии и географии слов других славянских языков. Ничу принадлежит ряд монографических этюдов по истории и географии названий некоторых животных, архитектурных частей дома, почти всегда с выводами относительно этимологии слов. Исследование польских диалектных вариантов слав. **oľga* «иволга» и **netopyrŭ* «нетопырь» можно привести как пример предельно точного изучения рефлексов праславянских форм, расшатанных многократными влияниями аналогии и народной этимологии.

В работах Нича история и география слов опирается на соответствующие сведения о вещах, что особенно ярко проявляется в исследованиях названий предметов материальной культуры, названий растений и деревьев: *gryka* «гречиха», *chaber* «василек», *iodla* «пихта», *świerk*, *smrek* «ель». Нич предпринял методологически важные попытки реконструировать географию отдельных праславянских слов; ср. пример **xъrb-* (откуда польск. *chaber*) в части западнославянских диалектов.

Непременную ценность и плодотворность отдельных наблюдений Нича для последующих исследований подтверждает недавно вышедшая книга польского этнографа и лингвиста К. Мошинского «Первоначальная территория праславянского языка».

¹ W. Pessler, Atlas der Wortgeographie von Europa — eine Notwendigkeit, «Donum Natalicium Schrijnen», Nijmegen — Utrecht, 1929, стр. 69 и сл.

² A. Meillet, Les interférences entre vocabulaires, «Linguistique historique et linguistique générale», 2-е éd., Paris, 1926, стр. 343 и сл. (то же — в издании «Linguistique historique et linguistique générale», t. II, Paris, 1936, стр. 36 и сл.).

Выводя в этой работе новую оригинальную гипотезу о первоначальном распространении праславянского языка в бассейне среднего Днепра, откуда он лишь впоследствии распространился к западу, в бассейны Вислы и Одры, Мошинский называет в числе важнейших аргументов результаты исследования Нича о названиях пихты и ели в польском языке. В этом исследовании 1931 г. Нич анализирует изменение значения праслав. *jedla, jedŕj* «ель» польск. *jadła* «пихта» при новом названии ели — *świerk, smrek*. К. Мошинский находит, что эти изменения и семантические перемещения могут быть объяснены лишь в том случае, если принять гипотезу о постепенном продвижении носителей праславянского языка из Подднесья на запад. Обитая на этой первоначальной территории, носители праславянского языка не знали дерева пихты, и *jedla* означало известную им ель; позднее, в период экспансии в более западные районы, праславяне, познакомившись с пихтой, переносят на нее основное название ели, в то время как ель получает новое название на освоенных территориях, откуда, например, польск. *smrek*. Этому выводу как будто соответствуют и известные данные ботаники о границах распространения пихты (*Abies alba*). К сожалению, трудно решить, насколько ближе к объективной истине гипотеза Мошинского, резко расходящаяся с автохтонистской теорией польских лингвистов Л. Козловского, Т. Лера-Славинского, археолога И. Костшевского, антрополога Я. Чекановского. Однако и в том и в другом случае за польскими автохтонистами остается долг — объяснить факты географии славянских названий ели и пихты, на которые впервые обратил внимание К. Нич¹.

Традиции лингвистической географии, географии слов получили значительное развитие в польской славистике. Здесь следует назвать книгу Л. Мошинского «География некоторых немецких заимствований в старопольском языке» — интересный опыт реконструкции географии немецких заимствований на польских диалектных территориях в период до 1500 г.² В серии «Монстрафии польских диалектных особенностей» вышел ряд полезных исследований, посвященных анализу конкретных форм и слов в свете лингвистической географии. Лингвистическая география остальных славянских языков разработана гораздо менее удовлетворительно. Монстрафические труды по географии слов или групп лексики представляют исключение, опыты комплексных исследований по лингвистической географии с привлечением данных истории и других смежных дисциплин фактически отсутствуют. Имеются суммарные характеристики диалектных различий в области лексики. Если выше на примере французской лингвистики приходилось говорить о практическом отождествлении лингвистической географии и географии слов, то здесь типичным пониманием лингвистической географии является наука о распределении фонетико-морфологических типов в рамках одного языка. Лексике, кроме суммарных обзоров, уделяется относительно небольшое внимание; недостаточно изучается движение слов и его исторические условия. Лингвистическая география этого типа исключает привлечение лексического материала смежных и родственных языков. Закономерным выводом из всего сказанного является констатация отсутствия исследований по этимологии на основе данных лингвистической географии. На практике это означает ущерб для этимологических исследований и обеднение смысла лингвистической географии.

Тезис лингвистической географии о возможности проникновения языковых инноваций через границы сжившихся языков и диалектов делает неснятой важность изучения древних лексических различий близко родственных языков, с одной стороны, и их «сепаратных» этимологических связей с лексикой иных языковых групп, с другой стороны. Следует подчеркнуть, что имеются в виду не только и не столько заимствованные элементы в обычном понимании этого слова, сколько достоверные ранние диалектные различия в исконной лексике, например, праславянского языка. Это подтверждает первоочередное значение этимологических словарей отдельных славянских языков. Намечающаяся работа по со-

¹ Многочисленные работы, опубликованные К. Ничем в разное время, см. в сб.: К. N i t s c h, *Studia wyrazowe*, «Wybór pism polonistycznych», t. 11, Wrocław—Kraków, 1955; см. также К. M o s z y ŋ s k i, *Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego*, Wrocław—Kraków, 1957, стр. 25 и сл., 58.

² Л. M o s z y ŋ s k i, *Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie*, Poznań, 1954.

ставлению общеславянского лингвистического атласа поможет, очевидно, многое выяснить в этом отношении. «Изоглоссы общеславянского атласа должны дать материал..., что особенно важно для изучения диалектных различий праславянского языка», — указывает С. Б. Бернштейн. Он говорит также о необходимости привлечь при отборе для картографирования наиболее ранних лексико-семантических различий данные славянской этимологии¹. Роль этимологического критерия при таком отборе несомненна, но следует также помнить, что этимологи вправе питать более корыстную заинтересованность в предприятиях, подобных общеславянскому лингвистическому атласу, а упомянутое картографирование призвано, по-видимому, дать этимологическому исследованию новый материал по ряду вопросов, в которых этимологии без помощи лингвистической географии далеко не все ясно.

В связи со сказанным выше представляются принципиально необходимыми попытки определить этимологические соответствия, охватывающие лишь часть славянских языков (или даже один язык, если древность сопоставляемого факта вероятна), с одной стороны, и какую-либо иную индоевропейскую группу, с другой. Сюда, например, относится проведенное В. Махком сравнение форм на *-otj-* от прилагательного в некоторых славянских языках с аналогичными адъективными формами хеттского языка на *-ant-*: чеш. *bělúci* — хет. *irmalanant* «больной»; вопросам охарактеризованных выше «сепаратных» этимологических соответствий посвятили ряд специальных этюдов М. Фасмер, И. Шютц, Г. Лант.

Закончив на этом рассмотрение истории вопроса, перейдем к обсуждению некоторых конкретных проблем на фактическом материале. В данной работе мы ограничимся следующими вопросами: этимология генетически родственных форм и лингвистическая география; ономастика и топонимия; заимствования и лексические интерференции.

Этимология и лингвистическая география связаны подчас отношениями тесной взаимозависимости, причем этимология может также вносить существенные коррективы в построения лингвистической географии, уточнять направление древних изоглосс и хронологию отдельных черт. Здесь имеются в виду древнейшие диалектные особенности лексики, которые могут быть с большой степенью вероятности сочтены исконными элементами. Этимология приобретает значение важнейшего критерия в опытах реконструкции географии слов в отдаленные эпохи.

Пример с названиями козы в некоторых индоевропейских диалектах весьма показателен в этом отношении. Индоевропейские названия козы довольно разнообразны, а это является уже достаточным основанием для того, чтобы привлечь внимание лингвиста. В. Порциг, касаясь разнообразия индоевропейских названий козы, полагает, что их распространение должно отражать диалектные связи древнейшей эпохи. Так, общее название объединяет итальянские и германские языки: лат. *haedus*, сабинск. *fēdus*, гот. *gaitis*, др.-в.-нем. *geiz* «коза, козел». Это соответствие приводится В. Порцигом в перечне италийско-германских изоглосс, включающих кельтские, балтийские и славянские языки. Порциг указывает также, что среди частных соответствий отдельных групп диалектов между собой италийско-германские изоглоссы относятся к числу древнейших в индоевропейском. Славянский имеет особое название *koza*, балтийский является представителем распространенного восточного (индо-иранского) типа².

Однако этимологическое исследование позволяет обнаружить в западных и восточных славянских формах **zimlza*, **zimolzia* «растение *Lonicera xylostium*», ср. русск. *жѣмолость*, сложение рефлекса п.-е. **ghī(d)-*, **ghei(d)-* «коза» и слав. **mlzо* «дою, сосу»; отсюда предполагаемое значение **zi-mlza*, **zi-molzia* «козлячье горлышко», причем позднее это название метафорически перенесено на растение, двойные бутоны которого, кстади сказать, поразительно напоминают горлышко козленка³. Таким образом,

¹ См. текст доклада на IV Международном съезде славистов: Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн, Лингвистическая география и структура языка (О принципах общеславянского лингвистического атласа), М., 1958.

² W. Porzig, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, стр. 106 и сл., 114, 117.

³ Подробнее см. О. Н. Трубачев, Slawische Etymologien 10—23, ZfS, Bd. 3, Hf. 5, 1958.

мы видим, что названная выше италийско-германская изоглосса превращается в италийско-германско-славянскую изоглоссу. Далее, — и это чрезвычайно важно для относительной хронологии различных названий козы в славянском — италийско-германские соответствия гарантируют древность именно этого забытого названия козы в славянских языках, следы которого можно установить лишь косвенным путем. Что касается слав. *koza* и *azьno*, то первое из них, будучи общеславянским, одновременно оказывается совершенно изолированным среди прочих индоевропейских образований. Вместе с тем за пределами индоевропейских языков близкое название *kāzā* (и подобные) «коза» распространено во всех тюркских языках. Не исключена возможность, что слав. *ko-ja* является древним заимствованием из тюркского, получившим общеславянское распространение и вытеснившим более древнее название. Заимствование здесь допускал еще Корш. Форма *azьno* «кожа» представляется совершенно изолированной в славянском и ввиду наличия других, более распространенных названий кожи в славянском **skora* и **koža*, а также по причине точных соответствий в индо-иранском могла быть заимствована из иранских диалектов как отражение определенного культурного импорта.

Значительную важность принципы лингвистической географии приобретают при изучении ономастики, особенно частной ее разновидности — этнонимов. Наличие будто бы разрозненных и территориально не связанных древних племенных названий у славян — дулебы, сербы, хорваты — привело некоторых ученых к неоправданному скептицизму относительно возможности использования этих имен. Однако сохранение на различных частях славянской территории тождественных этнонимов говорит лишь об их связи и общем происхождении; ср. слав. **dudlěbi* — у части восточных славян, западных (чехов) и на юге Паннонии; **sr̥bi* — в Лужице и на Балканах; **xrvati* — у восточных, западных и южных славян. Прослеживание этнонима **xrvati* позволяет говорить о движении его носителей из Прикарпатской Волины через чешские земли на Балканский полуостров; только о таком направлении распространения этнонима **xrvati* позволяет заключать его этимология как вероятного иранского заимствования. То же направление и приблизительно из того же исходного пункта имела экспансия носителей этнонима **dudlěbi*. И здесь на помощь приходит новая убедительная этимология этого имени, принадлежащая Р. Нахтигалю: **dudlěbi* < герм. *Dudl-eiba* «страна волюнок» (: нем. *Dudelsack*), буквальный перевод слав. *Volynь* (: русск. *волынка*)¹. Проверенные данные такого рода в отдельных случаях представляют основание для интересных этногенетических выводов. Прекрасным примером может служить объяснение названия области в центре Европейской России — *Мещера* как продолжающего древнюю форму венгерского этнонима *megyer/magyar*, что соответствует историческим сведениям об остатках венгров, оторвавшихся от основной массы венгров после удара печенегов и осевших в Восточной Европе.

Среди таких реликтов, несомненно, имеется много древнейших образований, которые пережили не один и не два языка, сменявших друг друга на данной территории. Известна способность этнонимов усваиваться носителями иного языка. Это важно учитывать для таких территорий, которые характеризуются непрерывностью культурной традиции, как, например, низменная равнина к югу от Балтийского моря до Судет.

Для части этой территории с древних времен известен этноним *лужици*, существующий до наших дней в виде названия области *Лужица*, населенной лужичниками сербами. Известно толкование этого этнонима как ископно славянского образования от слав. *lужь* «луг, низина». Под влиянием работ польских археологов, лингвистов и историков, доказывающих ископность славянского населения на Висле и Одре, это мнение сделало преобладающим. В качестве специфически славянских примет указывались варианты этого имени *loug-/long-*, встречающиеся в древних источниках и в то же время присущие только славянскому языку.

Германисты, исходя из германского характера ряда этнонимов, известных древним авторам в Восточной Германии, считают обычно *лужицы* германским племенем с германским же названием от основы герм. **lugjan-* «лживый» или гот. *liuga* «брак»,

¹ R. Nahtigal, *Dudleipa — Dudlěbi*, «Slavistična revija», letn. IV, 1—2, 1956, стр. 95—99.

т. е. «союзники»¹. Историки языка забывали при этом, что под одним и тем же именем *лугиев* в разные исторические эпохи могли фигурировать германцы, затем славяне, но от этого допущения еще очень далеко до признания самого этнонима славянским или германским образованием. Источники сооцпают следующие формы имени: Λοβ(γ)ιοι (Страбон), Λοβυιοι (Птолемей), Λόβιοι (Дион Кассий), *Lugii*, *Ligi* (Тацит), Λοβιωνες (Зосим). Вряд ли можно в поздней форме *Long-* усматривать древний вариант с носовым согласным, свойственный якобы только славянскому. (Четвидным остается факт, что римляне услышали это название из уст германцев. Все ранние формы названия указывают, если отсечь греческую или латинскую флексию, на **lugi-*, как вначале это имя, очевидно, в произношении германцев. Существенным, далее, обстоятельством является то, что этноним **Lugi*, кроме упомянутой территории в Восточной Германии, в других частях Германии не был известен.

Некоторые лингвисты, сознавая сомнительность германского или славянского происхождения этого имени, производят его из языка кельтов или иллирийцев. Интересно отметить существование в Восточной Германии, точнее — в самом Поморье, древнегерманского племени, известного под названиями *Lemovii* или *Glomman*, собственно древние фигуральные названия волков, или прямо *Wulfingas*, др.-сканд. *Ylfingar* «волки, род волков». Германские названия *Lemovii* и *Glomman* продолжают в видоизмененной форме жить в этнонимах позднейших славянских поселников Восточной Германии — *лемузов* и *гломачей*, расположение которых указано на карте западных славян при книге Л. Нидерле «Руководство по славянским древностям». Гломачи и лемузы занимали северные склоны Судет, вблизи лужичан. Можно думать, что и древнегерманские *Glomman* (*Lemovii*) находились в непосредственной близости от **Lugi*. Этимологически прозрачные германские *Glomman* (*Lemovii*) могли быть первоначально просто переводами более древних местных названий, точное значение которых было усвоено в условиях двуязычия, предшествующего ассимиляции. Этим местным названием могло быть темное **Lugi*, отражающее, возможно, старое ударение по закону Вернера: **lugi*- < **luh*^ω*i* < **luk*^ω*i*-. Исходная до германская форма, испытавшая затем на себе германское передвижение согласных, была, вероятно, тождественна др.-инд. *urki-h* «волчица». Таким образом, возникает гипотеза о существовании здесь до германской колонизации племен с названием от древнего женского тотема волчицы. С юга к описанной территории примыкала область вероятного древнего распространения иллирийского языка, который, однако, имел иное название волка, сохраненное в алб. *ulk*, ср. иллирийск. *Ulcisia castra* в Паннонии; в кельтских языках на старое название волка было, видимо, рано наложено табу, но, судя по галльскому этнониму *Volcae*, оно также имело несколько иную форму. Поэтому предположение о причастности кельтского или иллирийского языков к образованию праформы этнонима *Lugi* не представляется обязательным. С другой стороны, связь с более поздними прозрачными этнонимами на общей территории позволяет говорить как раз о значениях «волк, волчица» для этого древнего названия.

Возможно, далее, что реконструируемая архаическая форма этнонима **Luk*^ω*i* имеет близкие по форме, исходному значению и употреблению в качестве этнонимов соответствия в таких периферийных реликтах, как названия древних индоевропейских народностей и языков в Малой Азии: *Lukki* «ликийцы, Ликия», *luwi* - «лувийский». Во всяком случае давно существует гипотеза об этих двух последних названиях как рефлексах индоевропейского названия волка, однако далеко не все исследователи признают ее вероятной². Гипотетический этноним **Luk*^ω*i*, существование которого можно допустить у части древнеиндоевропейских племен, объясняется из и.-е. **luk*^ω*os*, древнего варианта и.-е. **g*^h*l*^h*kos* «волк».

¹ См. L. Niederle, *Rukověť slovanských starožitností*, Praha, 1953, стр. 101, 104, 106; T. Lehr-Splawinski, *O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian*, Poznań, 1946, стр. 141—142, 222—224; его же, *O starożytnych Lugiach*, «Slavia antiqua», t. I, 1948, стр. 261 и сл.; K. Tymieniecki, *Lugiowie w Czechach*, «Przegląd zachodni», rok. VII, № 5—6, 1951, стр. 131 и сл.; его же, *Ziemia polskie w starożytności. Ludy i kultury najdawniejsze*, Poznań, 1951, стр. 632; германцами лугиев считали А. Брюкнер и некот. др. См.: A. Brückner, *Początki Słowiańszczyzny Zachodniej*, «Slavia», rocz. I, seš. 2—3, 1922, стр. 383; R. Much, см. «Reallexikon der germanischen Altertumskunde», hrsg. von J. Hoops, Bd. III, Strassburg, 1915—1916, стр. 168.

² A. Ungnad, *Luvisch=Lykisch*, «Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete», Bd. XXXV (Neue Folge, Bd. I), Berlin und Leipzig, 1924, стр. 1 и сл.; R. von Kienle, *Tier-Völkernamen bei indogermanischen Stämmen*, «Wörter und Sachen», Bd. XIV, 1932, стр. 39 и сл.; E. Laroche, *Problèmes de la linguistique asiatique*, «Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris», IX, année 1949, Paris, 1950, стр. 73; B. Rosenkranz, *Beiträge zur Erforschung des Luvischen*, Wiesbaden, 1952, стр. 3; H. Otten, *Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen. Untersuchung der Luvi-Texte*, Berlin, 1953, стр. 59, 109; H. Kronasser, *Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen*, Heidelberg, 1956, стр. 15; см. рецензию на последнюю книгу: E. Laroche, BSLP,

При исследовании подобных имен, как и вообще в поисках этимологических решений, обращение к свидетельствам археологии должно стоять не в начале, а в конце исследования. Можно согласиться с теми учеными, которые утверждают, что чрезмерное доверие предметам материальной культуры, найденным при археологических раскопках, обедняет специфику лингвистического исследования, равносильно предвзятому суждению и столь же вредно в методологическом отношении. Осведомленность в достижениях истории материальной культуры, археологии необходима этимологу, но его главной задачей является использование всех возможностей, заложенных в языкознании как таковом. Так, например, нельзя не признать известной правоты К. Мошинского, который критикует лингвиста Т. Лера-Сплавинского за неумеренное пользование нелингвистическими данными, повлиявшими на случайный подбор гидронимов. В какой-то мере симптоматичным находит К. Мошинский отзыв И. Ксестшевского, в котором этот археолог с удовлетворением отмечает, что этимолог Лер-Сплавинский в своих суждениях об этнонимах *Lugii*, *Mugilones*, *Oueltai* основывается не на этимологических аргументах, а на факте расположения этих этнонимов в области культуры ямных погребений¹. Подвергнув критическому анализу чисто лингвистические факты, мы, напротив, должны будем отнестись внимательно к указанию антропологов о скрещении на территории Лужиц и в Судетах двух раннеисторических антропологических экспансий: старшей — германской и младшей — славянской, напластовавшихся на местной архаической антропологической почве².

При всей важности рассмотренных выше проблем основным вопросом этимологических исследований в плане лингвистической географии является исследование заимствований и языковых интерференций в целом. Эта крупнейшая проблема отличается значительной сложностью и распадается на целый ряд более частных проблем в зависимости от характера исследуемого материала.

Критерий распространенности слов всегда влияет на результат этимологии; ограниченное распространение слова очень часто служит признаком заимствования из иного языка. Конечный результат этимологии зависит от того, подтвердят или не подтвердят остальные аргументы этимологического исследования это свидетельство ограниченности территориального распространения. Этимология В. Маха польск. *kobieta* «женщина» < ст.-нем. *ga-betta* «сожительница» весьма вероятна потому, что, помимо безукоризненных фонетических и семасиологических аргументов и правдоподобного исторического объяснения, она поддерживается образами географии слова. Во всяком случае эту этимологию можно предпочесть другим объяснениям — исконнославянскому происхождению или заимствованию из финских языков³. Проблематика заимствований имеет в каждом языке свое лицо. Среди заимствованных слов украинского языка имеется ряд элементов румынского происхождения. Наличие этих слов обычно характеризует юго-западные диалекты, и лишь некоторые из них охватили большую часть территории украинского языка, как, например, *майже* «почти», продолжающее форму *mai*, ограниченную упомянутыми диалектами и непосредственно заимствованную из рум. *mai*. Распространение слова на ограниченной территории играет решающую роль для этимологии, особенно в тех случаях, когда заимствование хорошо приспособилось к фонетико-морфологической системе заимствовавшего языка и не выделяется из общей массы словаря.

t. 52, fasc. 2, 1957 («Comptes rendus 1956»), стр. 26; о хеттском *ueta*-«волк» см. J. Friedrich, *Hethitisches Wörterbuch*, Lf. 3, Heidelberg, 1953, стр. 254; несомненно, что это новое слово заменило в силу каких-то причин старое название волка.

¹ К. Mozyński, *Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego*, стр. 305 и сл., 312.

² J. Czekański, *Wstęp do historii Słowian*, 2-e wyd., Poznań, 1957, стр. 332 — 333.

³ V. Machek, *Germano-slavische Wortstudien*, «Casopis pro moderní filologii», годн. XXVI, č. 1 (1939), 1940.

Точность этимологии во многом зависит от степени точности диалектной локализации заимствования. Название германской столицы А. Брюкнер производил от славянского местного названия *Berla*, так же объясняет *Berlin* и М. Фасмер¹. Однако наиболее вероятная этимология имени *Berlin* была предложена чехословацким историком Д. Д. Прохаской, который объяснил *Berlin* < *Bedlin* «сторожевой пост», ср. др.-чеш. *bedliti* «быть бдительным, караулить». Наличие согласного *r* в *Berlin* Прохаска в основном правильно поставил в зависимости от известного в немецком языке диалектного ротацизма *d* > *r*, охватывающего северные и восточные области Германии. Именно в этих немецких диалектах слав. *Bedlin* дало *Berlin*².

Выяснение действительных путей проникновения заимствованного слова особенно важно и вместе с тем особенно затруднительно в том случае, когда заимствование, основной лингвистический источник которого в общем не оставляет сомнений, обнаруживает в пределах славянских языков четкие фонетические варианты с различными ареалами распространения.

Весьма красноречив следующий пример. Болг. *клатниќ* «накидка, верхнее платье из грубой ткани», сербскохорв. *клатиња* «вид чулка», *клатиње* «редкое сукно» объясняется как заимствование из ср.-лат. *calcia* «чулок, башмак». К этому же самому источнику возводятся словенск. *hláča*, мн. число *hláče* «штаны», *hláčica* «носок», сербскохорв. *клатче* мн. число «штаны», диал. *клатча* «чулок». Однако различие в фонетическом облике между этими двумя группами слов является слишком очевидным. Поэтому П. Скок указал на возможность заимствования словенской и сербскохорватской форм с начальным *h* непосредственно из фриульск. *txaltse*. Интересно отметить, что именно к этой последней группе привлекает не привлекавшееся как будто в этой связи ранее укр. *холбиші* «зимние штаны из толстого белого сукна» (в волынских говорах), *холбиші* мн. число «штаны», *холбиша* «штанина». Пример данного романского заимствования поучителен также как показатель проникновения слова одновременно с определенным культурным влиянием.

Для правильной оценки этого влияния большую ценность представляет исследование К. Яберга³. В раннюю эпоху *calcea* «чулок» фигурирует во всех романских языках, кроме румынского, а это значит, что оно образовано в Западной Романции после III в. н. э. Старый тип *calcea* с давних времен опоясывает Альпы. Тонкие, особенно вязанные чулки служили предметом экспорта и вместе с названием распространялись за пределы романской территории. Новшеством является развитие у *calcea* значения «штаны», причем центром распространения этого новшества, как и эволюции самого предмета, была Северная Франция, откуда новое значение *calcea* проникло в культурные центры Италии и в результате охватило северную часть Каталонии, Беари, часть Гасконии и Лангдока, Руэрг, восточную часть Лотарингии, французскую и ретороманскую Швейцарию и часть Северной Италии. Вся эта территория представляет тип *calcea* «штаны». Культурной иррадиации именно этой лингвистической территории следует приписать появление названных выше заимствований со значением «чулки, штаны» в словенском и — частично — сербскохорватском языке. Эта иррадиация проникает глубоко на восток, чем объясняется наличие слов *холбиші*, *холбиші* «штаны» в украинском языке. Значительный возраст этих заимствований в украинском косвенно подтверждает венгерский язык, получивший из украинского языка слово *harisnya* «чулок» (< укр. *головиња*). Значение венгерского слова указывает, что и в украинском это слово имело первичное значение «чулок», в настоящее время не известное говорам украинского языка.

В данный момент для нас прежде всего важен вывод, что непосредственным источником заимствования, охватившего словенский, часть сербскохорватского языка, а также украинский язык, с самого начала письменного периода истории уже не имеющий непосредственных границ с этими двумя языками, послужила форма, близкая фриульск. *txaltse* или ретороманск. *chotscha* (энгадинск. *chautscha*). Остальная часть сербскохорватской языковой территории и территории болгарского языка, где близкие слова имеют некоторые отличия в значениях, а главное — продолжают иной фонетический тип с начальным *k-*, получили эти формы, несомненно, из иных диалектов, возможно из балканороманского.

¹ A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, стр. 24; M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1953, стр. 80.

² Д. Д. Прохаска, «Берлин» от славянского «Бедлин» — сторожевой пост, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 4, стр. 351 и сл.; В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, М.—Л., 1956, стр. 294—295.

³ K. Jaberger, Zur Sach- und Bezeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zentralromania, «Wörter und Sachen», Bd. IX, Hf. 2, Heidelberg, 1926, стр. 137 и сл. (там же имеется ссылка на P. Skok, ZfomPh, Bd. 36, 1912, стр. 641—646).

Этимологическое исследование заимствованных слов дает также новый материал для реконструкции географии слов в различные исторические эпохи, как и вообще для уточнения различных изоглосс. Особенно интересные примеры здесь можно назвать из лексики венгерского языка. Венгерский язык, обосновавшийся с IX в. в бассейне Среднего Дуная, где до этого времени население говорило на различных индоевропейских языках, должен был, согласно общему правилу, отмеченному лингвистической географией, отразить и сохранить отдельные слова и формы вытесненных языков. При этом, как обычно бывает в подобных случаях, подчас в виде заимствований сохраняются формы, совершенно оставленные языками-источниками в ходе их дальнейшего развития, что повышает значение этих свидетельств также для истории языков-источников. Так, славянские языки, можно сказать, не знают парного образования женского рода со значением «кобыла» от существительного *копь*. Однако именно венгерский язык имеет слово *kanca* «кобыла», которое закономерно продолжает слав. **konjica* с этим значением. И. Книежа не может при этом указать никаких следов этой славянской формы в подавляющем большинстве славянских языков, кроме одного моравского диалекта, где есть слово *konica*, *konice*, но он правильно заключает о возможном гораздо более широком распространении слав. **konjica* «кобыла» в древности, особенно если учесть продуктивность форманта *-ica* в южнославянских языках¹. Если мы добавим сюда еще ст.-укр. *коница* в значении «ежа, кобыла», встречаемое в Лексиконе Памвы Берынды в качестве перевода имени (Ксанѣипа, рѣжаа кѣница), то праславянская изоглосса **konjica* «кобыла» в какой-то мере обретает свою реальность.

Лексика венгерского языка содержит отдельные указания о словарном составе исчезнувших языков Дунайского бассейна; ср. устаревшее венг. *lót* «словак», ранее известное как широкий этноним, обозначавший всех славян королевства Венгрии — словаков, хорватов (кроме сербов), которое Я. Мелих убедительно объяснил как иллирийское слово. Венг. *lót* продолжает иллирийск. **touta*, **teuta* «народ, племя», отразившееся в массе топонимии и ономастики иллирийского происхождения: *Tautantum*, *τρυ-τετα*, *Teutmeitis*, *Teutana*. Ввиду скудости источников иллирийского языка это достоверное свидетельство венгерского языка имеет значительную ценность, и отсутствие, например, упоминаний о венг. *lót* в специальном исследовании Г. Крае об иллирийском языке следует отметить как недостаток².

Лингвистическая география, точнее — ареальная лингвистика, исследующая иррадиации различных лингвистических явлений и интерференции языков, размещенных на смежной территории, должна постоянно учитывать также различные исторические факторы, которые в конечном счете обуславливают все явления, изучаемые лингвистической географией.

Особенное значение для лингвистической географии имеет изучение следов влияния таких крупных культурно-политических центров, как, например, Моравия, — так называемое государство Само (VII в.), Великоморавское государство (IX в.). Здесь в первую очередь воспринимались, осаживались или получали дальнейшее распространение среди славян немецкие влияния. Моравия представляет собой важнейший естественный коммуникационный путь, которому, по отзывам этнографов, западные славяне обязаны многими чертами близости материальной культуры к культуре населения Средней и Южной Германии.

¹ K n i e z s a I., A magyar nyelv szláv jövevényszavai, I kötet, 1 rész, Budapest, 1955, стр. 247.

² Melich J., A honfoglaláskori Magyarorszag, Budapest, 1925—1929, стр. 417—422; ср. Н. Крае, Die Sprache der Illyrier, Tl. I: Die Quellen, Wiesbaden, 1955, стр. 60—61, 72, 114 и сл.

Весьма вероятно, что результатом германо-славянской языковой интерференции является также неопределенное местоимение: чеш. *žádný*, словацк. *žaden*, польск. *żaden* «ни один, никто».

Ф. Миклошич, Я. Гебауэр, К. Э. Мука, А. Мусич, Ф. Оберпфальцер объясняли эти слова из основы **žed-* «жаждать, желать». Аналогичные наблюдения находим в работе покойной молодой лингвистки Е. Галиковой¹. Описанная этимология является общепринятой в чехословацком языковании². Другая часть ученых, занимавшихся названными словами, придает принципиальное значение формам типа др.-чеш. *nižádný*, др.-польск. *niżadny* с тем же значением, объясняя их, а через них и упрощенные *žádný*, *žaden* как продолжение древнего **ni-že-jednъ*, где *že* играет усиленную роль. Так объясняют эти формы В. Ягич, Я. Стрембский, А. Брюкнер, А. Вайан, Р. Нахтигаль³.

Прежде чем делать вывод об этимологии, следует обратиться к истории разбираемых слов. Ф. Оберпфальцер указывает на особую популярность в древнечешском языке формы *i jeden* «ни один» или просто *jeden* в том же отрицательном значении; с середины XIV в. в этой функции употребляется *i žádný* наряду с *žádný*, в то время как *nižádný*, по мнению Оберпфальцера, в наиболее древних памятниках выступает относительно редко. Материал по истории современного словацк. *žaden* крайне невелик. Можно указать форму *nižádný*, которая, собственно, является древнечешской, в деловом письме 1455 г., составленном в Земплинском комитате, в Восточной Словакии. Так называемая «Жилинская книга», крупный памятник XV — начала XVI в. с определенными словацкими чертами, содержит только формы *žádný* — думант, кеуи; *žiadny*. В польском языке можно указать следующие данные: Флорианская псалтырь (XIV в.) не имеет форм *žaden*, *žadny*, *nižadny* и употребляет в их значении слово *jeden*: ... *jeden z nich nie został* (псалом 105,12). Начиная с древнейших памятников, употребляется также *nijeden* — Светокржижские проповеди XIV в., Гнезненские проповеди XIV в., Познанские судебные присяги XIV в., «Перемышльские размышления» XV — начала XVI в., Шаропатацкая Библия королевы Софии 1455 г., «Sprawa chędogo o tęce Pana Chrystusowej» 1544 г., Кодекс Святослава, или Пулавский, XV в., Кодекс Дзяльнских XV в., Кодекс Страдомского (начало XVI в.), Легенда о святом Алексее XV в. Форма *nižadny* употребляется в Гнезненских проповедях (наряду с *nijeden*), Шаропатацкой Библии; *ani żadny* — в варшавских судебных протоколах и присягах XV — XVI вв.; с XV в. широко представлено в различных памятниках *żadny*, *żaden*.

Прежде чем закончить краткий обзор истории западнославянских форм, следует специально остановиться на фактах украинского языка. Выражение «ни один» выступало на протяжении истории украинского языка в следующих формах: в древнейших украинских грамотах широко употребляется *ни одинъ*; так, изданные В. Розовым грамоты XIV — первой половины XV в. совершенно не знают форм типа *жаден* в этом значении. В той же функции употребляется в этом сборнике грамот слово *никтрый*. Впрочем в других украинских грамотах уже довольно рано появляются формы типа *жаден*: *жадиць милости* (1347); *жаденъ жиць не маєть присягати* (1388). В дальнейшем *жаден* приобретает право преимущественно употребляемой формы и сохраняется до настоящего времени, но с XVII в. засвидетельствовано *жоден*, давнее впоследствии общепарадное и литературное укр. *жодний* «ни один». Исконой формой, соответствующей выражению значения «ни один» также в русском языке, является только ст.-укр. *ни одинъ*. Грамоты, в которых она широко встречается, написаны на церковнославянском языке, но изобилуют чертами живого украинского языка. К числу последних относятся, несомненно, и *ни одинъ*, представляющее собой чисто восточнославянское образование, отличное от др.-польск. *nijeden* или от церковнославянской по происхож-

¹ За ценные указания по литературе вопроса приношу благодарность проф. В. Махву.

² К. E. Mucke, *Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der nieder-sorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache*, Leipzig, 1891, стр. 396; J. Gebauer, *Historická mluvnice jazyka českého, díl III, Tvarosloví. 1. Skloňování, Praha*, 1896, стр. 292; A. Musič, «Rad Jugoslav. Akademije», knj. 224, 1921, стр. 201 [цит. по Fr. Plešić, *Severnoslovenski žaden (žadny)», žádný i slovenački (ni)jeden*», «Живословенски филолог», кн. VI, Београд, 1926/1927, стр. 264—265]; F. Oberpflaeger, *Negace žádný*, «Časopis pro moderní filologii», ročn. XII, 1926, стр. 204 и сл.; E. Halíková, *K otázce obecnho záporu v češtině*, «Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura», IV, 1957, стр. 19—23; J. Holub, *Fr. Kopecký, Etymologický slovník jazyka českého, Praha*, 1952, стр. 441; V. Machek, *Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha*, 1957, стр. 590.

³ V. Jagić, *Afslp*, Bd. V, 1881, стр. 161—162 и сноска на стр. 162—163; J. Otrębski, «Język polski», XI, стр. 179 и сл. [оба автора цитируются по вышеуказанной кн.: Fr. Plešić, *Severnoslovenski žaden (žadny) ...*, стр. 264—265]; A. Brückner, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków, 1927 (2-e wyd., Warszawa, 1957), стр. 660; A. Vaillant, *Notules. — II. Slovène (nyjeden «aucun»*, REŚI, t. XI, fasc. 1—2, 1931, стр. 66; R. Nahtigal, *Slovanski jeziki*, 2 izd., Ljubljana, 1952, стр. 246.

дению формы *ni edin* в аналогичных более поздних деловых документах: *ni za edin* — грамота молдавского господара Петра 1591 г.; *ni edinogo* — в сочинениях Ивана Вишененского (XVI — начало XVII в.). Форма *žaden*, отмечаемая в украинских грамотах уже с первой половины XIV в., является прямым заимствованием из польского языка; самый факт документированного наличия этой формы в украинских памятниках представляет немалый интерес для истории этой формы в польском, особенно если учесть, что сами древнепольские памятники XIV в. не дают достаточно ясно представления о степени употребляемости польск. *žaden*. Заимствование последней формы староукраинским языком еще накануне аннексии Западной Волыни и Галичины Польшей говорит о широком распространении и жизнеспособности формы *žaden* в древнепольском языке XIV в. и в предыдущую эпоху. Заимствование говорит также о том, что уже к этому времени в польском языке форма *žaden* успела проделать эволюцию (о деталях которой — ниже), в то время как изучение одних лишь польских памятников говорило бы как будто в пользу более позднего распространения и утверждения формы *žaden* как таковой. Ценные свидетельства украинского языка лишь подтверждают заимствованный характер формы *žaden*. Если вычесть эти украинские и аналогичные заимствованные белорусские формы, будет ясно, что мы имеем здесь дело с западнославянскими образованиями, не имеющими соответствий в остальных славянских языках.

Вопрос генезиса польских и связанных с ними украинских и некоторых других форм имеет решающее значение для определения развития относящихся сюда западнославянских форм в целом. Это тем более важно, что преимущественное внимание к чешским фактам, вероятно, может в данном случае представить в неярком освещении факты прочих языков, особенно если отдельные конкретные наблюдения над чешским материалом распространяются без достаточных оснований на остальные близкие языки. Древнечешские памятники имеют много примеров значения *žádný* «desiderabilis, желанный», однако это следует признать специфически чешской семантической эволюцией исходной формы и значения **žedunъ*, русск. *жадный* «исполненный жажды, желания». Формы *žádný* «ни один» и *žádný* «желанный» в итоге чешского фонетического развития оказались омонимами, причем новое, объективное значение второго из них дополнительно способствовало их сближению в чешском, чем объясняются некоторые затруднительные случаи, также представленные в богатой статье Оберпфальцера, в которых как бы имеются валито элементы и одного и другого значения омонимов. Однако объяснять *žádný* «ни один» < *žádný* «желанный» значит констатировать лишь народную этимологию, прочно вошедшую в данный случай в сознание носителей чешского языка. Говорят ли факты остальных языков в пользу этой этимологии? Лингвисты, принимающие объяснение *žádný* < **žedunъ*, видят в польск. *žaden* чехизм, одновременно указывая на наличие носового *q* в исконных древнепольских примерах: *žądný*. Однако данное обобщение неправомерно, так как *žadny*, *žaden* представлено огромным количеством примеров, в том числе в деловых записках, весьма далеких от чешского влияния. Написания *žadny* и *žadny*, *žadny* нередко производят впечатление графических вариантов, так как сосуществуют подчас в одной и той же фразе. Ср. в судебной записи Варшавской земли под годом 1548: ... *nymaya nassya žadnych praw usadzie žadnym wzywacz* ... (и ниже:) *nyta žądný žądnemu przeskadzacz* ... В высшей степени сомнительно, чтобы здесь бок о бок употреблялись заимствованная чешская и исконная польская формы. Разобранные выше факты староукраинского языка отражают с самого раннего времени только польск. *žaden*. Трудно предположить такое полное искоренение исконных польских форм и замену их чешскими. Сторонники этимологии *žádný* < **žedunъ* ссылаются, далее, на наличие носового в соответствующих кашубско-словинских формах. Однако кашубские диалекты имеют только *žóden*, *nížóden*. Словинские диалекты, действительно, знают формы *žóuděn*, *nížóuděn*, но совершенно очевидно, что носовой тембр гласного представляет здесь диалектное развитие *ā* > *q* перед носовым согласным в косвенных падежах типа *žóudń* (род. пад., ед. число, муж. род); ср. севернопольск. диал. *żąńńó góyry* (вин. пад., ед. число). Наряду с этим словинский сохранил формы с чистым гласным: *nížóudń*, *žóuděn*.

Из прочих западнославянских форм ср. н.-луж. *žaden*, в.-луж. *žadyn*. Можно полагать, что полабский язык не употреблял форм типа *žaden*, *nížaden*. Скорее всего, в этой функции выступала форма типа *nijeden*; ср. один не вполне удачный пример из глоссария И. Парум Шульце: *nie jang nie jaddahn Dejffa = ist nicht eine Dirne*.

Что касается общего направления развития форм типа *žaden* в рамках очерченного западнославянского языкового пространства, его нужно представить в согласии с частью исследователей (о которых — выше) следующим образом: *nížaden* → *žaden*. Современные чешский, словацкий, польский языки и диалекты этих языков сохранили только этап *žaden*, но памятники письменности свидетельствуют, что раньше им был известен также этап *nížaden*. До настоящего времени сохраняют этап *nížaden* кашубско-словинские диалекты, что не является инновацией и должно быть отнесено к числу важных периферийных реликтов этой весьма архаической группы диалектов. Итак, значительная часть западнославянских языков оказывается охваченной формами, исторически восходящими к общему типу *nížaden*. Оценка этой формы как таковой и сравнение с состоянием в остальных славянских языках позволяет в свою очередь рассматривать тип *nížaden* как инновацию, общую для большинства западнославянских языков. Относительно вероятного времени возникновения и распростра-

нения этой инновации можно сослаться на мнение Я. Станислава, который относит словацк. *žaden*, чеш. *žadný* и др. наряду с другими западнославянскими инновациями к эпохе Великоморавского государства IX в., когда почти все западные славяне находились в пределах одного государственного объединения¹.

Лингвисты, исследовавшие форму *nīžaden*, обычно сразу пытались объяснить ее возникновение участием тех или иных морфем. Характерно, что при этом никто в сущности не ставил вопроса, почему состоялось такое обновление выражения «ни один» в данных языках, а между тем этот вопрос важен и интересен в различных отношениях. Одной из типичных особенностей польского языкового развития является стяжение гласных, приводящее к образованию новых долгих *ā*, *ē*. Можно думать, что слав. **nī edьnъ*, представлявшее собой довольно стойкое сочетание, неизбежно должно было в прапольских диалектах подвергнуться стяжению с результом *ē: nījeden* > **n'ēden*, что, по-видимому, вредно сказалось на устойчивости всей формы, так как прежде всего нарушило ее четкую связь с *jeden*. Это обстоятельство, а также, видимо, аналогичные явления в прачешском вокализме и послужили необходимым условием для морфологического обновления выражения «ни один» — условием, которое до сих пор как-то игнорировалось. Обновление могло вначале возникнуть на сравнительно ограниченной части территории древних западнославянских диалектов и уже затем охватить значительную часть этой территории. Следующий вопрос — природа морфологического обновления выражения «ни один» — находился постоянно в центре внимания исследователей, правда, в несколько ином плане. Форма *nī-že-jeden*, которую часть лингвистов не без основания считает исходной для *žaden*, *žadný*, допускает вероятность определенного внешнего импульса, а именно — влияния тоже новообразования на соседней немецкой языковой территории — франк. *nig-ein* и др., о которых подробно ниже, новообразования, которое столь характерно по сравнению с рефлексом праслав. **nī edьnъ* в польском и чешском, терявшим морфологическую четкость, необходимую в условиях парного употребления.

Известно, что не всякая этимология зависит от результата специального лингво-географического анализа ее материала. Но несомненные случаи, когда ошибочность или просто сомнительность попыток прямолинейного объяснения фактов спонтанным происхождением становится очевидной только благодаря лингвистической географии, которая проливает новый свет на уже известные факты. Влияние франк. *nig-ein* на западнославянские формы предполагает определенную легкость взаимопонимания, славяно-немецкое двуязычие, при котором *ein* машинально переводилось, в то время как влияние первой части *nig-ein* осуществлялось при участии на славянской почве народной этимологии и неизбежных звуковых субституций. Параллелизм новообразования и средств его осуществления на немецкой и западнославянской почве поразителен.

Совершенно противоречит как будто исходному пункту наших рассуждений о судьбе *nī edьnъ* в западнославянских языках наличие именно форм *nījeden* — и притом в большом количестве — в различных древнепольских и древнечешских памятниках. Однако этот пример лишний раз демонстрирует необходимость тщательного анализа относительной хронологии развития форм. Все время, пока тенденция стяжения оставалась живой, *nījeden* было невозможно фонетически, но как только она потеряла силу, возможность сочетания элементов *nī* + *jeden* снова оказалась реальной и была осуществлена в речи. Весь этот эпизод борьбы форм мог разыграться в дописьменном польском языке. Видимо, так нужно понимать ту сложную картину, которую мы застаем в памятниках польского языка: *nīžaden* (*nīžadny*, *žadny*), а рядом с ним *nījeden*. Первое из них можно признать инновацией эпохи Великоморавского государства, в то время как второе — *nījeden*, — по-видимому, не может считаться прямым рефлексом праслав. **nī edьnъ*, но лишь в точности повторяет последнее в новых условиях звуковой системы польского, resp. чешского языка. Точно так же, например, **ne je*, прапольск. *nie je* «non est, non» дало фонетически закономерно польск. *nie* в этом значении, а с ослабленным описанной тенденцией снова оказалось возможным сочетание *nie jest*. В Флоринанской псалтыри находим уже оба случая: псалом 13,1: *Rzekl iest szaloni na sercu swoiem: ne boga.* (псалом 13) 2: *...ne iest asz do jednego.*

Таким образом, в истории выражения «ни один» в западнославянских языках наблюдается интересная эволюция форм: 1) кризис общеславянского **nī edьnъ*; 2) инновация *nīže-jeden*, вытеснившая старое выражение (сюда же закономерные этапы ее собственной эволюции: *nī-žaden*, *aniž nden*, *žaden*); 3) новообразование *nījeden*, до известной степени соперничающее с *žaden* и иногда заменяющее его в стилистически оправданных случаях, ср. *ani jeden* как более сильное выражение вместо *žaden* в польском. В образовании *nīže-jeden*, мы, по-видимому, имеем дело с общей инновацией различных языков. В каждой инновации, охватывающей несколько языков, обязательно присутствует элемент заимствования, тем не менее между общей морфологической инновацией и лексическим заимствованием имеется существенное различие. Инновация предполагает элемент языкового союза. Выделить *nig-ein* — *nīže-jeden* как общую инновацию принципиально важно тем более, что речь идет о сравнительно поздней эпохе (до IX в.

¹ J. S t a n i s l a v, *Dejiny slovenského jazyka, I. Úvod a hláskoslovie*, Bratislava, 1956, стр. 123.

включительно), когда реальным выражением взаимодействия соседних германских и славянских языков обычно считается только лексическое заимствование.

Исследователи немецких заимствований в польском почти единогласно отмечают, что польский язык преимущественно черпал немецкие заимствования не из близкого нижнегерманского, а из верхнегерманского или — точнее — восточносреднегерманского. Сравнение зап.-слав. *nížejeden* с немецкими образованиями опять-таки указывает на среднегерманскую языковую область, поскольку, как увидим ниже, именно там нужно локализовать формы типа др.-сакс. *nig-ēn*.

В то время как Средняя Германия явилась политическим ядром Франкского государства, Северная (Нижняя) Германия оставалась на положении окраины, испытывавшей в ранне-средневековье значительный отток населения — на острова или в районы непосредственной близости культурно развитых областей. Исторический центр Франкского государства — Рейнская и Средняя Франкония — становится, по свидетельству историков немецкого языка, также центром иррадиации важных языковых влияний, что выражается в распространении за пределы этих областей языковых особенностей первоначально чисто местного значения. Языковые особенности франкского происхождения прослеживаются на территории Вестфалии, в южнонемецких письменных памятниках.

В этой связи большой интерес представляет история и география выражения «ни один» на территории немецкого языка. Современные господствующие формы — н.-в.-нем. *kein*, гол. *geen* — отнюдь не являются общегерманскими, они не представляют собой даже общезападногерманских форм. Для этимологии нем. *kein* привлекаются др.-в. нем. *nihhein*, *nihein*, др.-сакс. *nigen*, объясняемые сложением *nih* «и не, также не» + *ein*, причём древнесаксонская и продолжающие ее средневерхнегерманские формы с *g* отражают действие закона Вернера и тем самым признаются более древними сравнительно с чисто в.-нем. *nihein*, происходящим из эпохи после действия закона Вернера. Таково, в основном, содержание соответствующей статьи в словаре Ф. Клюге — А. Гетце. Нельзя сказать, чтобы динамика развития форм была здесь раскрыта удовлетворительно. Действительные диалектные взаимоотношения на территории немецкого языка в древности могли быть в данном конкретном случае несколько иными. Форма *nigen* в немецкой лингвистической литературе обычно называется древнесаксонской. На расплывчатость старого понятия «древнесаксонский язык» в последнее время с полным правом указал В. Ферсте. Он выявляет ряд разнообразных следов франкского влияния, проникновения в древнесаксонский морфологических инноваций франкского происхождения. В отличающейся по языку от собственно вестфальских памятников древнесаксонской поэме IX в. «Гелианд» также известны черты, занесенные из франкских диалектов, на что указывал еще Ф. Энгельс. Исторически это объясняется наславанием нижнегерманских по языку населения-саксов на франкское население Вестфалии. Форма *nigen* «ни один» в языке «Гелианда» находится в резком противоречии с выражением этого значения в большинстве языков «нижнегерманской» фонетической ступени, на что указывал, например, Я. Гримм в своем словаре: др.-сакс. *niēn* (между прочим, также в «Гелианде»), ср.-н.-нем. *nēn*, *nēin*, др.-фризск. *nēn*, англо-сакс. *nān*, англ. *none*, др.-исл. *neinn*. С другой стороны, формы, органически близкие *nigēn*, распространены на компактной смежной территории: *nigein*, *negeen*, *negheen*, *engheen*. Эти формы были присущи собственно франкским диалектам и продолжают существовать, например, в развившемся на франкской основе голландском языке и его диалектах: *geen*. Позднейшее фонетическое противопоставление нижнегерманского и верхнегерманского в соответствии с отражением верхнегерманского передвигением сгладило многие различия внутри нижнегерманского, бывшие прежде существенными. К ним относятся различия между иствеоными (франкскими) и ингвеонскими (древнесаксонскими, англофризскими) диалектами. В то время как форма типа *nigēn* представляется исконной для франкских диалектов вплоть до наличия *g* (ср. выше), для нижнегерманского-ингвеонского форма с *g* перед *e*, *i* не могла быть фонетически исконной; ср. многочисленные случаи перехода *g > j* в этом положении в саксонском, фризском, английском. Поэтому *nigēn* в древнесаксонском, как затем и *gein*, *geen*, *gin* «ни один» в средневерхнегерманском, являются заимствованиями из франкского. Англи и саксы, выселившиеся на Британские острова в V в., когда еще только начинался подъем франков, сохранили более простое древнее *nān*, структурно аналогичное праслав. **ni edьnъ*. Это означает, что древнесаксонский еще не знал тогда формы *nigein*. Влиянию исконно франкской формы *nigein*, *nigēn* обязаны, с другой стороны, по-видимому, верхнегерманские диалекты появлением в них вторичной формы *nihhein*, *nihein*, *nehein*, *nohhein*. Таким образом, *nigein* и родственные формы представляют собой типично немецкую инновацию, центр которой лежал в древнефранкских диалектах. Отсюда эта морфологическая инновация постепенно охватила остальные части немецкой языковой территории, за исключением ряда нижнегерманских диалектов; ср. *nēn* «kein» (Зальцведель, Альтмарк), диал. вестфальск. *nān*, *nen*, *nain* «kein». Островные англо-саксонские диалекты также представляют в этом отношении пример периферийных языков, сохраняющих реликт основной в прошлом формы и не охваченных инновацией. Эта инновация стала по своему распространению континентальной западногерманской чертой. Причина кризиса герм. **ni aina*-«ни один» в континентальных западногерманских и прежде всего франкских диалектах коренится, вероятно, в оформлении нового отрицания *nein* «нет», сменившего более древнее простое отрицание, опять-таки сохраненное в виде периферийного англ. *no* и близ-

ких образований. К сожалению, этимологические словари не уделяют должного внимания этим отношениям. Дальнейшая история немецких форм выразилась в многочисленных поздних преобразованиях типов *nigein*, *nihhein*.

Принципиального различия в данном случае между взаимодействием древнефранкских диалектов с остальными континентальными западногерманскими диалектами и тех же древнефранкских — с частью западнославянских языков не существует. Здесь скорее можно говорить о наличии одной области распространения морфологической инновации выражения «ни один», куда входили все названные языки и диалекты. Сопоставляя нем. *nigein*, *nihhein* > *gein*, *chein*, *kein* и зап.-слав. *nižaden* > *žaden*, можно говорить также о параллелизме дальнейшей эволюции данной морфологической инновации в этих языках.

Слово **korlǫ*, русск. *король*, проникшее в славянский в результате контактов с франками в эпоху Карла Великого (ум. в 814 г.), охватило большинство славянских языков. Говорит ли это о необходимости считать слав. **korlǫ* более древним, а только западнославянское *nižejeden* — более поздним образованием? Думается, однако, что такой вывод будет ошибочным и что широкое распространение слав. **korlǫ* объясняется политическим и социальным весом этого термина.

Преобразование и вытеснение праслав. **ni edьnъ* (ср. ст.-слав. *ниѣдънь* и др.) имело место, кроме разобранного западнославянского примера, также в некоторых других частях славянской территории. Эти случаи частично уже исследовались, но, насколько можно заметить, основной смысл преобразования не был раскрыт. Общее наблюдение, непосредственно подводящее нас к причине преобразования, заключается в том, что данное явление присуще зонам наиболее интенсивного взаимодействия славянских языков с неславянскими.

Здесь относится, например, словенск. *nobeden*, *nobèn* «ни один», объясняемое из **ljubo eden* или из **obeju eden*, из **ob + eden* или **nibo eden*. Внимание заслуживает особенно последнее объяснение — из **nibo eden*, принадлежащее А. Вайану. С ним следует согласиться в том, что *bo* здесь усиливает отрицание *ni*, а также в том, что это образование аналогично зап.-слав. *nižejeden*, однако последнее не следует понимать как результат простой перестановки энклитики в выражении типа ст.-слав. *ниѣдъньже*. Импульс для такого образования скорее всего может быть обнаружен при детальном сравнении с подобными образованиями в немецком и западнославянских языках. Словенские диалекты и памятники представляют весьма сложную и разнородную картину: есть примеры сохранения типа *nijeden*, ср. *nidan* в Резьинском катехизисе XVIII в. И. А. Бодуэна де Куртенэ и такая же форма в современных диалектах Резии. Только в словенских диалектах Северо-Восточной Италии можно указать по материалам Бодуэна де Куртенэ три способа выражения значения «ни один»: тип *nijeden*, тип *jeden* и сложение с *maŷ*: ... *nj'maŷ maŷ-dnoŷa* = «не имеешь ни одного». Первая часть этого сложения представляет, вероятно, заимствование из соседних романских диалектов, ср. фриульск. *mai* «но».

Не менее интересные преобразования праслав. **ni edьnъ* находим в македонском и болгарском. К. Мирчев был прав, указывая на вост.-макед., болг. диал. *боѣдин* «ни один», «какой-нибудь» как на форму, структурно близкую словенск. *nobeden*, однако для этого вовсе не нужно объяснять болгарско-македонские формы из *любо edin*, тем более что продолжением старого наречия *любо* в восточномакедонских диалектах является *лю*. Более правильным представлялось бы объяснение вост.-макед. *боѣдин* из первоначального **nibo edin*, которое, проникнувшись отрицательным значением, получило со временем возможность употребляться и без отрицания: *боѣдин*, ср. *nižaden* > *žaden*

Никто из исследовавших *nižaden*, *nobeden* не затронул болг. *ниѣдин*, которое имеет принципиальное значение. Ст.-слав. *ниже* калькирует греч. *οὐδὲ*, как правильно отмечал А. Вайан, но рядом с *ниже* продолжало оставаться ст.-слав. *ниѣдънь*, сохраняя еще всю прочность формулы. Весьма показательны в этом отношении болгаро-македонские факты. Греч. *οὐδὲ* тоже калькируется, но уже новыми средствами: *ниѣто*, *ниѣти*, южномакедонское *ниѣто* (Кулакийское евангелие), *ниѣти* (М. Малецкий). Серьезным новшеством болгарского является преобразование ст.-слав. *ниѣдънь* > болг. *ниѣдин*. Можно, правда, указать, что, например, усиленное отрицание типа *ниѣти* является в какой-то мере общеюжнославянским, но это не противоречит выводу, что именно п.-болг. *ниѣдин* является калькой греч. *οὐδὲ εἷς*, *οὐδαίς* с этим значением. Среднеболгарские памятники как будто последовательно сохраняют употребление форм старославянского типа — *ниѣдинъ*, *ниѣдинъ*, что, впрочем, еще не означает позднего происхождения болг. *ниѣдин*. Эта форма, как и ряд других подобных балканских черт болгарского, является отражением формы влиятельного *κοινὴ*, греческого языка Нового Завета. Но есть случаи, когда можно говорить о более поздних образованиях, например южномакед. *puidin* (Сухо и Висока в районе Салоник). Насколько удалось установить, *puidin* в текстах Малецкого выступает 7 раз в отрицательном значении «ни один, никто» и по крайней мере 32 раза в неопределенном значении «некоторый, какой-нибудь». Правда, при этом надо учесть, что преобладание значений второго рода вызвано популярностью зачина *pujnd v'ám'a* (Сухо) «однажды» в повествовании, которое является основной формой текстов, записанных Малецким. В остальном *puidin* является в этих говорах единственным выражителем значения «ни один, никто». В морфологическом отношении *puidin* представляется

сложением предлога-проклитики *ri* «по» и числительного *idin* «один». На этом высчерпываются возможности объяснения формы внутренними средствами местного славянского диалекта. С другой стороны, современный греческий язык знает форму *καείς*, *καίς* «какой-нибудь, какой-то», «ни один, никто», собственно *κίς* «хотя бы один». В условиях двуязычия эта структура слова, несомненно, осознавалась. Болгарско-македонскому *по* известны уступительные значения; ср., например, модифицированную при помощи отрицания форму болг. литер. *поне* «хотя, хотя бы», которой соответствует в Сухо и Висока *рипа* «по крайней мере». Поэтому можно объяснить *puidin* «какой-нибудь», «ни один, никто» из **pune idin*, **ripa idin*, которое калькирует новогреч. *καείς* «какой-нибудь», «ни один, никто».

Таким образом, взамен праслав. **ni edьlъ*, сохраненного частью восточнославянских и сербскохорватским языком, большинство славянских языков в итоге различных местных конвергенций развило новые формы: *nizaden*, *pobeden*, *nito edin*, *boedin*, *puidin*. Изучение этих последних с точки зрения лингвистической географии представляется единственным правильным путем к раскрытию их этимологии.

Наблюдения о роли лингвистической географии в этимологическом исследовании можно закончить следующим выводом: лингвистическая география — дополнительный критерий, необходимость в котором для этимологического исследования тем выше, чем обрывочнее материал и чем сложнее выводы самого исследования.